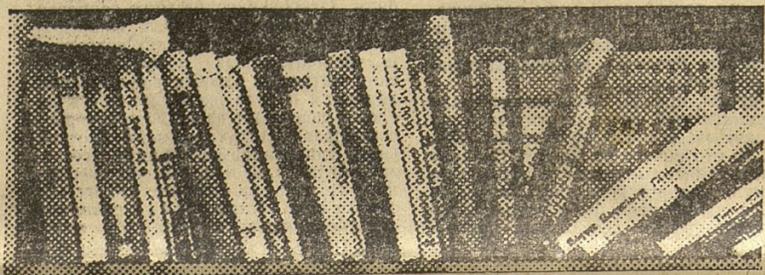


# КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ



● «СЕБЕ НАЕДИНЕ И БОГУ ВО ИСПОВЕДИ — НИ В ЧЕМ НЕ СТЫДНО ПРИЗНАТЬСЯ...» ЖИЗНЕМЫСЛИ ГЕОРГИЯ ГАЧЕВА ● С ПОМИНОК — НА БАРИКАДЫ! ПРОЗАИК РУСЛАН КИРЕЕВ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР О ТОМ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ● НОВЫЕ СТИХИ ДАВИДА КУГУЛЬТОНОВА ● «КАТАСТРОЙКА» ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗА. БЕРНАР ПИВО СРАВНИВАЕТ КНИГИ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА С НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ ● ВИКТОР СОСНОРА: НЕУЗНАННЫЙ ГЕНИЙ? КОЛОНКА ПОСТОЯННОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ «ЛГ» АЛЛЫ МАРЧЕНКО

НА ПОМИНКАХ вообще-то не принято повышать голос. А тут — такое яркое, такое напористое, такое хлесткое слово. Громкое... Особенно для столь рафинированного критика, как Виктор Ерофеев. Вот и закрадывается сомнение: а может, это не поминки вовсе, а так — розыгрыш, инсценировка?

«Есть русская поэзия и русская проза советского периода, как есть поэзия и проза других народов, населяющих СССР, но говорить о советской литературе как об объединившей все это в единое целое — значит предаваться иллюзиям». Слова эти выброшены над текстом, точно флаг, — следовательно, читать их рекомендовано как ключевые. Но коль скоро советской литературы не было и нет, то откуда, извините, покойники? По ком поминки?

Ладно, покойник подразумевается. Но в таком случае — кто он? Каковы черты гипотетического мертвеца, над прахом которого не скорбят, а язычески пляшут?

Советская литература, по Ерофееву, «существовала... в трех основных измерениях»: официозная, деревенская и либеральная. Сущность первой «заключается в пламенном устремлении к внелитературным задачам». Пусть так, но тогда не подпадает ли под это определение не только, скажем, Алексей Толстой, но и Лев тоже, с его очевидной и все нарастающей страстью к задачам именно внелитературным? (Другое дело, какие ценности отстаивала русская классика, а какие — ее формальная наследница.) Да и только ли Лев Толстой? Собственно, после Пушкина, заложившего легкий, ладный корабль российской словесности, что весело бежал по волнам, поскольку трупы не были отягощены полезным грузом, — после Пушкина судно наше все более оседало под тяжестью того, что Фет назвал «избытком содержания». Литература стремительно идеологизировалась, и уже к началу нынешнего века «судьба русского писателя... часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем». Это — свидетельство Буннина, широко известность которому принесла «Деревня», вещь не только социально заостренная, но и явно тяго-

теющая, если следовать классификации Ерофеева, ко второму «измерению».

И, наконец, «измерение» третье — либеральное. Тут уж преемственность литературы, по которой ныне справляется тризна, очевидна, как очевидно и то, что всякое либеральное (как и реакционно) ориентированное искусство, то есть всякое тенденциозное, отягощенное «избытком содержания» искусство, страдает художественной дистрофией — будь то «Что делать?» Чернышевского или

Руслан КИРЕЕВ

## ПАНИХИДА С КНУТИКОМ

упоминаемые Ерофеевым «Дети Арбата», ставшие на непродолжительное время бестселлером советской литературы. Если, конечно, таковая существует... Или — вспомним о выброшенном флаге! — Ерофеев прав и есть лишь издаваемая на разных языках «поэзия и... проза советского периода», которые некорректно объединять в «единое целое»?

А почему, собственно, некорректно? Потому что на разных языках? Но вот передо мной сборники современной испанской прозы, на титле которых значится: перевод с испанского, каталанского, галисийского. А четырехязычная швейцарская литература! А двуязычная канадская! Стало быть, литература может организовываться в «единое целое» не только посредством языка, но и по территориально-социальным признакам.

И еще. Не слишком ли крупны

лячки в классификационной сети Виктора Ерофеева? Захватив трех китов, на которых якобы держался уходящий под воду литературный материк, она много чего упустила. И не такую уж мелочь. Где книги о войне — Твардовский и Казакевич, К. Воробьев и Гроссман? Где так называемая лагерная литература, и прежде всего Варлам Шаламов, сказавший принципиально новое художественное слово? Что во всей русской прозе двадцатого века удалось, кроме него, лишь Андрею Платонову.

Платонов, впрочем, в статье Ерофеева присутствует. Но не в качестве полпреда отпеваемой литературы, а как ее жертва. Согласен, жертва, и тем не менее настаиваю: Платонов,

утратило вместе с Богом не только письменность, не только фольклор, но и навыки разговорной речи. Платонов как бы учится говорить. Как бы в первые составляет, мучаясь, фразы.

И наконец Пастернак. Мне уже приводилось говорить на страницах «ЛГ» (№ 24, 1988) о стратегическом просчете «Доктора Живаго», удешевленного насильственной беллетризации (мыслимо ли вообразить гётевскую «Поэзию и правду» написанной от третьего лица?), поэтому повторяться не буду. Замечу лишь, что поведелально-аналитическая проза была не только доступна Пастернаку, но очень даже органична для него — вспомните «Охранную грамоту». Там,

кова! Можно, если верить тому же Ерофееву. Можно, поскольку «роман о несовершенстве мира и должен быть несовершенным». Это, правда, не из литгазетовской статьи, а из ерофеевского предисловия к «Мелкому бесу» Ф. Сологуба. Отчего же не распространить сей лукавый тезис на другие несовершенные книги о еще более несовершенном мире? Тем паче что многие летописцы этого мира, дебютировавшие как первоклассные писатели, впоследствии — и не обязательно под прямым диктатом внешних обстоятельств — пришли к произведениям куда менее гармоничным. О Пастернаке — романисте Пастернаке — я уже говорил, но самый, может быть, яркий пример тут — Михаил Булгаков.

Лично мне у Булгакова ближе всего «Записки юного врача». Эта бесхитростная, не забываящая о внешней блеске проза исполнена глубинной силы и красоты. Она наименее литературна из всего сделанного Булгаковым, наименее тенденциозна, наименее философична — быть может, поэтому сам автор не очень ценил ее. Во всяком случае, в автобиографии 37-го года о «Записках...» не сказано ни слова. Да и дошли бы они до наших дней, не будь «Белой гвардии», «Театрального романа» и, конечно же, великолепного «Мастера...»?

Да, «Мастер...» великолепен, но не будем забывать, что всякое величие приобретает рано или поздно оттенок музейности. Сдается мне, что с булгаковским романом это уже происходит. Явно обветшали сатирические сцены, и на первый план выступила линия Понтия Пилата. Но она избыточно ярка, избыточно стилизована. Она слишком искусство, чтобы тоже в конце концов не стать музейным экспонатом, который найдет себе приют в том же зале, где и «Как закалялась сталь», «Цемент», «Доктор Живаго»... «Мастер...» — детиче не только советской литературы, но и его конкретного периода. Периода тридцатых годов (не времени действия — времени написания) с их лежбачным фасадом и скрытой от глаз дьявольской кухней.

И все-таки, соглашаясь, именно «Мастер и Маргарита», пусть даже и не являясь лучшим булгаковским творением, остается его Главной книгой. Не напиши он ее — не было бы писательской судьбы, Завершенной писательской судьбы, которую Булгаков пробил, как в сверхпрочной породе пробивают туннель.

Тут, однако, напрашивается сравнение с Салтыковым-Щедриным, учителем Булгакова. (Откройте «Губернские очерки», и на вас дохнет стилистикой «Мастера...») Щедрин — и здесь принципиальное отличие русской классической литературы от литературы советской — завершил свой путь тем, с чего Булгаков начал. Отдав лучшие годы социально ориентированной, перегруженной «избытком содержания», баррикадной литературе, он написал под занавес книгу могучую и свободную. Свободную, как дыхание, свободную, как жизнь, которая отнюдь не сводится к борьбе. Я говорю о «Пошехонской старине».

Нам до такой свободы, ох, как далеко! Мы пока все о смелости толкуем, качество, разумеется, замечательное, но тоже, в общем-то, из военного арсенала. Вот и Виктор Ерофеев в рецензии на «Пушкинский дом» («Октябрь», № 6, 1988) признается, что в битовском романе его более всего пленила «гражданская смелость».

Меня там другое пленило, но речь не о том сейчас. Речь о поминках, которые, по моему, объявлены преждевременно. Что подтверждает и нынешняя «баррикадная» статья Виктора Ерофеева.

Моя, боюсь, тоже.

в «Охранной грамоте», есть, между прочим, пассаж, в котором предвосхищена неудача «Доктора Живаго». «Настоящего жизнеописания, — роняет автор, объясняя, почему не хочет писать свою биографию, — настоящего жизнеописания заслуживает только герой». Не какой-то там поэт и уж тем более не простой смертный, а личность героическая. Узнаете? Да ведь это один из краеугольных камней будущего здания — вернее, крепости, — социалистического реализма. Теоретическая база для «Чапаева» и «Как закалялась сталь».

Да, слово «крепость» здесь уместней. Крепость, герой, штык, к которому приравнивают перо, бой — разумеется, последний и решительный — все это один лексический ряд. Атрибутика баррикадного мышления и — как следствие — баррикадной литературы. А также баррикадной критики, образц которой дал в свое время еще Белинский. Я имею в виду знаменитое письмо к Гоголю.

Статья Ерофеева традицию эту продолжает. Тот же напор, та же безапелляционность, тот же стегающий кнут. Вот разве что рука, сжимающая кнутовище, не вздрагивает от душевной боли, а делает свое дело с грациозным бесстрашием. Ослепленный яростью, задыхающийся Белинский — тот в отчаянье хлестал и себя тоже (Гоголь почувствовал это и в черновике ответного письма пожалел Виссарьона Григорьевича: «О, как сердце мое ноет в эту минуту за вас!»), здесь же техника безопасности соблюдена. Дистанция соблюдена. «Эта, как ее еще называют в СССР, секретарская литература...» Чувствуете, с какого расстояния прозвнесено это? Панихида, но издали. Не оттого ли и приходится повышать голос?

Что же касается «Чапаева» и «Как закалялась сталь», то они — вчитайтесь! — дают социально-психологический срез времени не менее точный, нежели «Доктор Живаго». Другое дело, что «нечаянно» дают, помимо или даже вопреки авторской воле, что не такая уж редкость в литературе. Наисвежайший пример — предсмертные мемуары К. Симонова, трагическая хроника преодолеваемого, но так и не преодоленного рабства.

Позвольте, возражат мне, но разве можно говорить как об искусстве о книгах Островского, Фурманова, Глад-

### ПОСЛЕСЛОВИЕ

Острая, талантливая, хотя и далеко не бесспорная статья В. Ерофеева «Поминки по советской литературе» (№ 27) многих шокировала резкостью и крайностью оценок и выводов — об этом свидетельствует и поток откликов, три из которых напечатаны — В. Варжапетяна (№ 30), А. Марченко (№ 31) и вот теперь — Р. Киреева. Кажется, становится ясно, что справлять тризну по советской литературе несколько преждевременно.

Что дальше? Можно, конечно, на этом поставить точку, если рассматривать проблему узко, применительно к «поминкам». Но не попытаться ли, оттолкнувшись от уже сказанного, отдав должное зачинщику «смуты» и аргументам его оппонентов, выйти на новый уровень разговора, взглянуть на судьбу и свершения русской литературы двадцатого века в свете последних открытий, «дополнений» и откровений? Может быть, это будут — рисковать так рисковать — первые главы новой истории советской литературы? Вместе с тем не менее важно, на наш взгляд, дать и конкретный анализ современной литературной ситуации, ее явлений, тенденций и т. п. Словом, давайте попробуем расширить горизонты спонтанно возникшей дискуссии. Продолжение следует...